



№23 1997

жизни", которой в СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ нет - она заводится/не заводится только в ее имитации.

На углу Моховой и Пантелеимонской блондинка с морковными губами торговала новогодней пиротехникой.

- Сударыня,- спросил Тукуранохул,- какая буква алфавита кажется вам самой эротичной?- и застыл, волнуясь и предвкушая.

Блондинка посмотрела на прохожего как на рюмку, которая, пожалуй, лишняя.

- Эн, разумеется.

- Конечно,- продолжил движение Тукуранохул,- веселье, это когда под стулом взрывается хлопушка и на брюки падает салат, а самая манящая буква - "нет", "не дам", на х.й..."

В городе есть окна, куда войдет слон, и такие, будто для кошки. Последние иногда на брандмауэрах - как норки береговушек. При равном прочем на Гагаринской было больше лая - по левую руку, в садике за оградой гуляли домашние звери. Между садиком и Пантелеимонской, в нише открытого двора, зажатый с боков двумя доходными глыбами, дремал екатерининский особняк с охристым фасадом и белыми колоннами под фризом. Классицизм. Гвоздюков во двор не свернулся - ему было слегка обидно за восемнадцатый век, от него осталось немного фарфора, редкие дома и буква "е", которую держат за падчерицу. Ну, и этот город - он, конечно, выручал.

Интересно, как это происходит, что время меняется? Вот показался миг, вот он вылез наполовину, и уж нет его - куда он делся? Вот время ползет, вздувая и перекатывая мышечный бугорок под кожей, как гусеница бражника, вот пластина на луже прелым листом. Когда оно лист, куда оно девает свои нахальные ужимки? Люди здесь не при чем, людей вычеркиваем - испокон человек хочет как лучше, а выходит как всегда.

Что-то стало с зимой,- отметил Тукуранохул задумчиво,- растаяла ее ледяная яранга.

Гвоздюков оглядел его, точно вырезал из плоского пространства.

Кафе на Гагаринской светилось желтым, внутри пахло ванилью и, разумеется, кофе. Вodka была русской, какую только может быть, остальная - что-то вроде аристотелевского ПОДРАЖАНИЯ, так кажется. Светлые деревянные столы и лавки с отчетливой сучковатой фактурой корректно поблескивали (лак) - не то, чтобы уютно, но лучше, чем пластик. Материал хочет быть привычным, материал хочет, чтобы ему доверяли. Иначе он нервничает - боится, что станут портить. Подспудное состояние предметов бросается в глаза: ограда Летнего знает себе цену, и сарай, и Псковский кремль тоже, это хорошая цена, а вот телефонная будка и лифт трепещут. Отчего-то не по себе газонам. Цивилизация желает быть адекватной себе, суетливый прогресс достает ее: в самом деле - поставь фанерный киоск в Микенах, что, не поковыряют?

На столе перед Гвоздюковым поместился гладкий стакан с водкой до ободка, чашка кофе и полосатый цилиндр-леденец в шуршащем целлофане. Тонкое стекло стакана спесиво гордилось посверкивающей на боку каплей, чашка задумалась, а леденец был что надо - растянулся на пядь. Гвоздюков смотрел во все глаза, и мир в его глазах менял пропорции: стол и то, что на нем, царствовали - все остальное умещалось под ногтем, даже ветер.

- Эй, ты не пьян ли?- спросил Тукуранохул, расколдовывая.

- Вот, что я знаю.- Гвоздюков опрятно потер ладони:- Конец света живет не снаружи, а внутри всякой твари. Это усталость, потеря воли быть, это когда Бог больше не дышит в свою игрушку. Человек откусал яблоко, и ему стало скверно - он уравнялся с братиками меньшими, что время от времени стадами сигают умирать на берег. Терпение - это и есть ТО ДЫХАНИЕ, а когда оно уходит... Знаешь, не хочется, чтобы жизнь стала похожа на телевизор, который похож на сон. Дурной сон. Сон без молитвы.

- Сон - не сон,- сказал Тукуранохул,- а мне вот хочется просыпаться и не ощущать разницы. Нам пустяка для этого всего и не хватает: помолчать, сосчитать в уме хотя бы до шести с половиной и осознать стиль как предпоследнюю истину. В широком, то есть, смысле.

- А что же поглавнее?

- Не знаю. Всегда что-нибудь найдется.

Прилизительно справа шуршили машины, под ногами черной сковородой с остатками постного масла лоснился асфальт тротуара, впереди, в академической перспективе, неоном (argonом?) мебельного светилась запотевшая Пантелеимонская. Гвоздюков шел по тротуару и чувствовал свои ноги. В блаженной бессмыслице Гвоздюков выкладывал город плотными петлями - он цель не

обратил, он удалялся, и это, определенно, было развитие. В ладонь ему уже падал немой миг абсолютного величия, засевшего в щелке между вопросом: "Пенсне - не атрибут ли покаяния?" и ответом: "Это ж какая нагрузка гнетет лопатку турбины, когда с затворапускают воду!", величия, тождественного совершенному знанию, еще не разбежавшемуся, подобно паучатам из кокона, в разнокопицу наук, религий, любомуздрия и искусства, величия, непостижимо вместившего связь бессвязных предметов. Словом, наитие падало. Гвоздюков сжал ладонь, посмотрел на трепетное перо Тукуранохула и сообщил счастливо:

- Ну, вот и все. Пожалуй, sapienti sat.

- Это, стало быть, хватит? - удивился Тукуранохул.- Но я еще не рассказал, как принял в домашней обстановке выращивать мандрагору. Казалось бы - пустяк, однако есть и тут свои секреты: Вот слушай: в цветочной кадке с черноземом, песком, толченным кирпичом и летней пылью с проселка хоронят семя вицельника. Попивать следует скромно, но ежедневно - капустным соком, росой с подвалных труб и слезами некрещенного младенца, а если хочешь девочку, тогда необходимо добавить ночную женскую слюну, но так, совсем немного. Держать зимой, конечно, приходится у батареи, а с мая можно ставить на окно,

под солнце, хотя не обязательно. Питомец неприхотлив, поэтому до поры о нем не то что забывают, но по часам кроить день не приходится, как было бы со спаниелем или хомячками. Можно по-прежнему, не сверяясь с циферблатом, отправляться в кино, кропотливо выпиливать лобзиком, крошить уткам бублик, клеить из спичек корабли, выкладывать черные кирпичики домино, ходить по грибы или на язы, ватагой брать снежную крепость, жечь рыхлую шерстку тополиного пуха и т.п., сообразно пристрастию. Когда же - месяца через четыре - появятся на свет первые зеленые прядки, почву нужно подкормить творогом и полить спитым чаем. Если прежде в доме не подкопилось ползунков и распащенок, еще осталось время для белошвейных затей - лишь через три, примерно, лунных фазы приступают с деревянной лопаткой к извлечению мандрагоры из кадки. Порою при расставании с землей малыш кричит и кажется, что просит жертву, но это морок, предрассудки - младенец рабок и не кровожаден. Его легко напугать неловким жестом или резким звуком - тогда он тает в воздухе, как завиток дыма, и никогда уже не возвращается на место своего детского ужаса. Чтобы этого не случилось, обычно сморщенное существо греют в ладонях, где оно сопит и трогательно вздыхает, а после расчесывают гребешком волосики. Вот, собственно, и все. Осталось малыша выкупать, обтереть вафельным полотенцем, дать ему на блюдечке молока, пожаловать родовой герб, флаг и гимн, и лишь затем отворить ему уста и вложить разнообразные речения.

На Пантелеимонской, у заведения с цепким названием "Лоза", Гвоздюков вспомнил, что он еще есть. Ну, есть и все тут. Следом он вспомнил, что заходить внутрь ему не стоит, так как сей миг только он вышел наружу. "Лоза" отпустила его. Крадучись он отошел от витрины и, опершись на желтую, холодящую из-под краски металлом, ограду тротуара, посмотрел на картонно кренящиеся дома. Что-то было в городе от бабочки, взлетающей в немыслимо замедленном рапиде.

За оградой попыхивали выхлопные трубы. Лица прохожих казались стыдливыми. Вяло артикулируя и невнятно слогоразделяя речь - целая канитель,- Гвоздюков сказал своему наперснику:

- Знаешь, я домой пойду.

Того, казалось он и ждал. С шипением, разбрзгивая за собой бело-зеленые искры, Тукуранохул взлетел над Пантелеимонской и ослепительной штухой, по тугой траектории, как огненная собака, погнавшаяся за хвостом, унесся в черное небо. Осветились на миг мертвенным сиянием нависшие стены, лепные драконы, тяжелая рельефная надпись "Основано в 1893г.", крашеная штукатурка, на которой влага вздула разнообразной формы пузыри, и все пропало. Как не было.

Гвоздюков стоял у дверей своей квартиры и искал в карманах ключи. Щелкнул сухо галльский замок. Из комнаты в коридор вышла жена с черной пешкой в руке.

- Я шахматы расставила,- сказала беспечно.- Сыграем в поддавки.

Гвоздюков протянул ей полосатый леденец.

- Вот тебе, заяц, палочка-выручалочка. Только черта с два она заработает!



Евгений Мохорев. Из серии "Петербургская Аномалия", 1995.